

Владимир Галактионович Короленко

В облачный день



Владимир Короленко

В облачный день

«Public Domain»

1896

Короленко В. Г.

В облачный день / В. Г. Короленко — «Public Domain», 1896

«Был знойный летний день 1892 года. В высокой синеве тянулись причудливые клочья рыхлого белого тумана. В зените они неизменно замедляли ход и тихо таяли, как бы умирая от знойной истомы в раскаленном воздухе. Между тем кругом над чертой горизонта толпились, громоздясь друг на друга, кудрявые облака, а кое-где пали как будто синие полосы отдаленных дождей. Но они стояли недолго, сквозили, исчезали, чтобы пасть где-нибудь в другом месте и так же быстро исчезнуть...»

Содержание

I	5
II	7
III	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Владимир Галактионович Короленко

В облачный день

Очерк

I

Был знойный летний день 1892 года. В высокой синеве тянулись причудливые клочья рыхлого белого тумана. В зените они неизменно замедляли ход и тихо таяли, как бы умирая от знойной истомы в раскаленном воздухе. Между тем кругом над чертой горизонта толпились, громоздясь друг на друга, кудрявые облака, а кое-где пали как будто синие полосы отдаленных дождей. Но они стояли недолго, сквозили, исчезали, чтобы пасть где-нибудь в другом месте и так же быстро исчезнуть...

Казалось, у облачного неба не хватило решимости и силы, чтобы пролиться на землю... Тучи набирались, надумывались, тихо разворачивались и охватывали кольцом равнину, на которой зной царил все-таки во всей томительной силе; а солнце, начавшее склоняться к горизонту, пронизывало косыми лучами всю эту причудливую мгlistую панораму, усиливая в ней смену света и теней, придавая какую-то фантастическую жизнь молчаливому движению в горячем небе... Во всем чувствовалось ожидание, напряжение, какие-то приготовления, какая-то тяжелая борьба. Туманная рать темнела и сгущалась внизу, выделяя легкие белые облачка, которые быстро неслись к середине неба и неизменно сгорали в зените, а земля все ждала дождя и влаги, ждала томительно и напрасно...

По тракту лениво прозвонил колокольчик и смолк. Потом неожиданно заболтался сильнее, и с холма меж рядами старых берез покатился в клубке белой пыли тарантас с порыжелым кожаным верхом, запряженный тройкой почтовых лошадей. Вокруг тарантаса моталась плотная пыль, лошадей густо облепили слепни и овода, увязавшиеся за ними от самой станции. От станции же путников сопровождал печальный и сухой шелест усыхающих нив. Роясь тихо качалась, шуршала и будто жаловалась впросонках на этот зной и на эти раздражающие туманные грезы, залегающие на горизонте обманчивыми признаками дождей...

Было скучно. В густой листве придорожных берез шевелились порой какие-то вздохи, а из села, колокольня которого осталась позади, за холмом, слышался редкий, надтреснутый звон.

– Осокинцы молебствуют, – сказал, ни к кому не обращаясь, ямщик. – Беда ведь: жар да сухмень... Гнев господень... Икону подняли, – что-то господь даст. Эх, вот прежде поп у них был, Василий. Насчет чего прочего не больно дохваливали, а что касающе дождя, – ну, дошлый был! Как, бывало, пройдет по межам, даром что пьяненький, шатается, – отколь и возьметса, братец мой, туча... И отколь тебе ни возьметса туча...

Никто не ответил, и ямщик смолк. На меже действительно мелькали ризы сельского причта, почерневшая парча двух хоругвей болталась в ясном воздухе, и пение незатейливого клира носилось какими-то обрывками. Раскатится густая диаконская октава и рассыплется горошком где-то совсем близко, смешавшись с шелестом ржи, между тем как высокая фистула дьячка беспокойно летает над березами и будто мечется, и кого-то ищет, и зовет кого-то напрасно. Потом все стихнет, и весь пейзаж опять безысходно томится и будто еще усиленнее чувствует тяжесть бытия. А неподвижный воздух опять густо насыщен ожиданием и смутными, раздражающими грезами...

Вместе с пылью и слепнями это ощущение безнадежной тоски нависло, очевидно, и над тарантасом, тихо катившимся по тракту. Коренник лениво месил ногами, пристяжки роняли

морды чуть не в самую пыль дороги, тарантас расслабленно дребезжал плохо пригнанными частями, ямщик видимо придирался к одной пристяжке, наделял ее по временам язвительными эпитетами самого оскорбительного свойства.

Впрочем, если кто еще не вполне поддался расслабляющему влиянию этого томительного дня, то это именно ямщик. Это был человек небольшого роста и довольно невзрачный в своем порыжелом кафтане и в шляпенке неизвестного происхождения, неопределенной формы и цвета. Нос у него был несколько набекрень, борода выгорела от солнца, но глаза, синие и глубокие, глядели живо, умно и несколько мечтательно...

Это была личность, популярная по тракту, и кому часто доводилось ездить этими местами, тот непременно замечал и помнил Кривоногого Силуяна, с его синими глазами, глубоким голосом и бесконечными рассказами. Были седоки, которые, приезжая на станцию, спрашивали у содержателя: «А что, Силуян тут?» – «Балагур, – говорили про него другие ямщики. – С ним, конечно, седоку не скучно». Зато и сам Силуян любил седока внимательного, бывалого и разговорчивого. Он умел говорить, но любил и послушать. Он охотно отдавал дороге все, что накопил в памяти. Но и дорога, в свою очередь, наделяла Силуяна такими сведениями, которые только и можно подхватить на бойком тракту от проезжего, бывалого и выдающегося человека. В таких случаях Силуян жадно прислушивался, повернувшись с облучка назад, а потом, возвращаясь на обратной один, легкой рысцой, в сумерки или темную ночь, когда чуть видные березы глухо шумели вдоль темного тракта, – он перебирал в уме слышанное за день. А так как в душе он поэт, наделенный беспокойным и подвижным воображением, к тому же темные ночи, звон колокольчика и шум ветра в березах отражаются по-своему на работе ямщицкой памяти, – то не мудрено, что уже через неделю-другую сам проезжий рассказчик мог бы выслушать от Силуяна свой собственный рассказ как очень интересную новость... И ему не удалось бы даже убедить Силуяна, что это он, проезжий, сам и рассказывал ему, только совсем иначе. Силуян повернется, посмотрит и покачает головой.

– Нет, то был другой и личность другая.

И действительно, то был другой, потому что темные ночи и ямщицкая память совершенно преображали человека, неизвестно откуда приехавшего и неизвестно куда ускакавшего по тракту в неведомый свет, – преображали до такой степени, что и фигура, и лицо, и голос, и самый рассказ подергивались особым налетом ямщицкой фантазии... Так рождалось на Аском тракту много былин, а так как их некому было записывать, то они тут же на тракту и умирали, если, впрочем, исправник Полежаев, большой любитель рассказов Силуяна, не повторял их где-нибудь в грязном номере уездной гостиницы перед скучающей уездной публикой...

– Да ты, Силуян, смотри, не все болтай зря, – говорил иногда исправник. – Как бы иной раз и не того... и не нагорело за твои сказки...

– Убей меня бог, Степан Митрич, – отвечал Силуян с убеждением и совершенно искренно. – От проезжего барина слышал, от генерала. Чай, не станет врать...

Вообще много странного можно было услышать о белом свете от ямщика Силуяна, обычно знавшего, впрочем, каждый пенек на Аском тракте.

II

Теперь он был слегка раздражен и недоволен. Изменчивые облака (овес сохнет!), жар, слепни, лукавство пристяжки, которая все норовит «обмануть» его, но самое неприятное – молчаливые, разваренные седоки... Их двое: молодая девушка и пожилой барин. Барин сидит совсем осовелый и клюет носом. Ямщик давно махнул на него рукой и все внимание обратил на девушку. Но та сначала забилась в угол тарантаса и все глядела в одном направлении упрямо и жадно, не видя ничего в отдельности и только поглощая глазами синюю даль. Потом она заснула, не переменяв положения: белокурая головка беспомощно моталась на жесткой коже тарантаса, платок с головы съехал назад, волосы сбились, а на лице блуждало странное выражение, как будто и во сне она глядела на что-то вдали и старается что-то угадать.

Силуяну стало жаль ее, и он поехал тише, но пристяжка воспользовалась его снисходительностью до такой степени нагло, что он не выдержал и резко вытянул ее кнутом. Недобросовестный конь дернул сразу, тарантас охнул, и девушка проснулась.

– И подлый же конь этот, – сказал ямщик виновато, указывая на пристяжку кнутом. – Коренная, например, старается, без облыни, а этому подлецу только бы оммануть. Вот, воо-от, во-ат, гляди на него, на ш-шельму.

Кнут несколько раз взвизгнул в воздухе и шлепнул по мокрым бокам коня. После этого пристяжка, казалось, поняла цену добродетели, и ямщик успокоился. Он поглядел на небо и, широко взмахнувши по воздуху кнутовищем, как бы погоняя тучи, сказал:

– Облака-те набираются все. Не даст ли господи милости хресьянам... Айда, айда к нам, на Липоватку.

Он остановился с ожиданием. Теперь по-настоящему седокам следовало бы спросить: «А ты сам разве из Липоватки?»

И он бы тотчас ответил:

– Ну! Из Липоватки, из самой! Липоватовых господ, может, слышали? Богатеющее имение было.

Да тут же, кстати, спросил бы и сам:

– А вы чьи будете, из какой стороны? Не видывали мы вас что-то, здешние-то господа у нас на примете.

Он жадно насторожился, но никто ничего ему не ответил. Господин по-прежнему тускло глядел вперед и тихонько потряхивался на сидении («точно мешок с мякиной», – сказал про себя ямщик), а барышня опять уставилась глазами на дальнюю рощу, грузно и сине легшую по «вершинке», на фоне желтой нивы.

Ямщик досадливо поправился на облучке, уселся плотнее и обратился к березам, которые что-то зашептали ему, как старому знакомому, будто приглашая к беседе с ними, вместо неприветливых седоков.

– И-эх березыньки!.. – любовно протянул он нараспев, и тихая песня понеслась среди мертвого жужжания оводов. Он пел приятной фистулой, обладавшей общим свойством ямщицких голосов: песня звучала будто откуда-то издалека, точно ветер наносил ее с поля.

И э-э-эх-да-э-эх... Да Аракчеев господин...
Да Аракчеев-е...

Так как лукавый пристяжной конь видимо замедлил ход, чтобы лучше слышать пение хозяина, то ямщик опять резко вытянул его по заду, – а песня не прерывалась, будто в самом деле ее пел кто-то другой, в стороне. Она тягуче и тихо, но как-то особенно плотно и грустно лилась нота за нотой... Есть что-то особенное в этих ямщицких песнях, которые поются впол-

голоса на облучке под топот копыт и монотонное позванивание колокольчика. Не удаль и не тоска, а что-то неопределенное, точно во сне встают воспоминания о прошлом, странном и близком душе, увлекательном и полузабытом... Барышня шевельнула бровями.

Да Аракчеев-господин,
Да ен всеё дороженьку березкой усадил...

Воспоминание становилось определеннее. Слова выходили из звучного жужжания ясные, с понятным смыслом. Барышня совсем оторвала глаза от рощи, и господин переставал безжизненно встряхиваться на своем сидении.

Да он тебя, дороженька, березкой усадил...
Да всеё Расеюшку в разор разорил!..
И-э-э-эх, моя березынька, дороженька моя...

Последний стих прозвенел и потерялся в воздухе, покрытый явно сочувственным шорохом берез, шевеливших на легком ветру нависшими ветками. Ямщик, казалось, забыл уже о седоках, и через минуту песня опять тянулась, отвечая шороху деревьев:

И-й-эх, моя березынька, дороженька моя...
И-й-эх, ты, мать Расеюшка, хресьянская земля...
Да э-эх, Ракчеив наш, Ракчеив-генерал,
На тую ль на дороженьку... хресьян выгонял...
Да й-э-э-эх...

Шепот деревьев, шорох хлебов, звон колокольчика, и опять песня.

Тая ли дороженька-а-а да кровью полита!..

Вместе с определенностью мотива определялось и выражение на лицах седоков. Лицо молодой девушки стало печально, глаза округлились. Это заметил проснувшийся господин и сказал с неудовольствием:

– Ну, ты! Что такое, – распелся! – говорил он слегка дребезжащим голосом, в котором силилась пробиться какая-то твердая нота.

Ямщик невольно оглянулся. Седок уже не встряхивался, а сидел «своей волей», нахмутив брови, и на лбу его ямщику только теперь резко кинулась в глаза кокарда. «Должно – начальство новое», – подумал Силуян, обрывая песню, и обиженно задергал вожжами.

Но в голове его шевелились вольные мысли:

«Ишь ведь, прости господи, идол навязался! Не важивали мы начальников, что ли? Вон Полежаев, исправник, или опять Талызин, Василь Семеныч, даром што генерал полный, а, бывало, подавай ему Силуяна, с другим, говорит, и не поеду...»

Эти воспоминания ободрили ямщика, и он прибавил вслух:

– Низвините, ваше благородие, – песня такая поется старинная, про Ракчеива, значит.

– То-то песня, – брезгливо и как-то слегка в нос сказал седок. Он, видимо, старался говорить строго, но твердая нота все не налаживалась. – Песня! Песни тоже всякие бывают...

Впрочем, лицо его опять начало расплываться, обрюзгло, и туловище опять пассивно поддавалось влиянию тарантаса: господин опять стал потряхиваться, а глаза его потускнели. Из опасения, что разговор, хотя несколько неприятный, угаснет, ямщик прибавил раздумчиво, после короткой паузы:

– Ракчеив... Стало быть, помещик был в нашей стороне. Годов, сказывают, со сто, а то, может, и всех два-ста будет. Важнейший был генерал у царицы, у Екатерины.

Господин слегка очнулся.

– То-то вот! – все еще несколько сонным голосом ответил он. – «Два-ста»... У Екатерины... в вашей стороне! Ничего-то вы, мужики, толком не знаете, а туда же, «в разор разорил»... Распустились!

– Песня, господин, она, как сказать... – возразил Силуян, – она ведь исстари идет... От народу взялась... Старинная это песня... Ежели ее голосом настояще вывести...

– Ну-ну! Будет уж, не выводи! Слыхали.

– Как угодно! – Ямщик окончательно обиделся.

– Что ты это, папочка, отчего? – спросила девушка. Она, казалось, не сразу вслушалась в содержание разговора и только задумчиво ждала продолжения песни. Когда все смолкло и продолжения не было, – она только тогда поняла причину.

– Ах, Леночка, – ответил господин, – ты этого не можешь понять. Это не Петербург, и здесь я не могу смотреть на себя, как...

– Как на что? – лениво спросила дочь.

– Как... на частного человека! Пожалуйста, Лена, не вмешивайся в мои... распоряжения.

– Не буду, папочка, – так же лениво обещала девушка.

Ямщик излил свои ощущения усиленной игрой на вожжах и усердным употреблением кнута. Однако чуткое ухо уловило кое-что в разговоре. «Вишь ты, – подумал он, – начальник и есть. Строг, а, кажись, отходчив. Ну, да мне-ка что! Наше дело ямщицкое!»

Опять наступила тишина и дорожное томление. Барышня смотрела вдаль, господин потряхивался и ритмически покачивался на сидении, а глаза его, все еще открытые, стали так тусклы, как будто на них насады пыль. Колокольчик бился, взвизгивал и подвывал какому-то своему неисходному горю. Потом он всем надоел, прислушался и сразу исчез из слуха и сознания. Зато в тишине полей оживало какое-то тревожное, пугливое трепетание, и порой чудилось, что диаконский бас, давно оставленный назади, опять увязался с тучами оводов за тарантасом и все догоняет и сыплется по сторонам горошком.

Но это был только слуховой призрак, встававший среди чуткой атмосферы, наэлектризованной томлением и испугом иссыхающей земли...

III

В голове пожилого господина бродили мысли, призрачные, как эти мглистые тучи... Обрывки прошлого, обрывки настоящего и туманная мгла впереди. Все громоздилось в голове, покрывало друг друга. Общий фон был неясен, зато отдельные мысли выступали порой так раздражительно ярко, что однажды он сказал громко:

– Да... вот... А теперь что же мы видим?..

– Ничего, ничего, Лена, – застыдившись, ответил он тотчас же на вопросительный взгляд девушки. – Я подумал... о прошлом...

Действительно, он думал о прошлом, и призраки его молодости тянулись к нему невидимыми руками от этого истомившегося простора. Тарантас тихо тарахтит по пыльной дороге, а Семен Афанасьевич Липоватов видит себя юным помещиком... Когда н-ское дворянство, первое из великорусских, обратилось с известным адресом об эмансипации, имя Семена Афанасьевича стояло под этим адресом. Как это все было... как бы сказать... блестяще, что ли!.. Подъем духа, разговоры, ожидания, тревоги... Казалось, будто вся жизнь поворачивала куда-то на новую дорогу и гремела, и сверкала на этом повороте. Почему теперь так не блестит уже ничего в жизни? Потом, когда виднейшие дворяне, спохватившись, начали горячую борьбу «за интересы сословия» и подали контрадрес, – имя Семена Афанасьевича каким-то образом очутилось и на контрадресе. Странно, – но и тут опять было что-то блестящее, что-то кипучее и особенное, окрашенное колоритом того времени...

И какого времени!.. Какой энтузиазм, какие речи, какой пыл, какая самоуверенность, какие надежды! Где теперь все это, – то есть даже не эти факты, а этот особенный тон жизни, этот аромат бытия? Казалось, по всему лицу русской земли были расставлены какие-то особые рефлекторы и резонаторы, придававшие силу каждому звуку, сияние каждому явлению. Неужели это только молодость? Нет, старики тогда тоже становились молодыми, вот что удивительно... Вдруг прославится смоленское дворянство! Вдруг лукояновское общество сельского хозяйства открывает новые горизонты! Вот Семен Афанасьевич подписался под одним адресом – и его имя передается из края в край, становится достоянием даже заграничной прессы. Блеск, гул, сверкание! Но разве не было блеска и в этом протесте нотаблей против эмансипации, в этом столкновении «знамени освобождения» со «старыми дворянскими традициями»... И опять его имя становится достоянием прессы, и опять его приветствуют, – только уже с другой стороны... А там опять восторги и ожидания, потом земство, новые суды, egalite!..¹

Вот тут-то, когда воспоминания дошли до этого пункта, – у Семена Афанасьевича и вырвалось восклицание:

– Да! а теперь... Что же мы видим?

¹ равенство (франц.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.